

A photograph of a winter landscape. A snow-covered road or path leads into the distance, flanked by utility poles and a dense forest of evergreen trees. The sky is overcast and grey. The overall mood is quiet and desolate.

Сергей Коротков

# НАЙТИ КОПЕЙКИНА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЭМЫ  
И ПОВЕСТЬ

**Сергей Коротков**  
**Найти Копейкина.**  
**Документальные поэмы**  
**и повесть**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25557955](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25557955)*

*ISBN 9785448561788*

**Аннотация**

Книга «Найти Копейкина» – попытка переосмысления опыта прожитых лет в контексте событий начала нового тысячелетия. Историческое расследование неожиданно оборачивается для автора делом сугубо личным, переплетаясь с его собственной судьбой, и, в конце концов, становится основой его духовного поиска.

# Содержание

Найти Копейкина	5
Прозрел	7
На свалке	14
Дом	16
Пасха	19
Отец	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

**Найти Копейкина**  
**Документальные поэмы**  
**и повесть**

**Сергей Коротков**

*Редактор Елена Сапрыкина*

*Фотография на обложке Александра Власова*

*Технический редактор Иван Коротков*

© Сергей Коротков, 2017

ISBN 978-5-4485-6178-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**Найти Копейкина**  
*повесть*



Юрьевецкая колокольня, 2015

# Прозрел

Старорежимный старик Игнат Копейкин, сидя на телеге, палочкой своей-выручалочкой сбивал одуванчики вдоль дороги. Парашютисты ангельские высоко взлетали и щекотали нос слепому Копейкину. Дорога на Юрьевец, с ухабами, лужами и рытвинами, покоя Игнату не давала, будоражила его. И он беззлобно матерился, ругаясь на недоделанность всего.

– Слепой-то я, слепой. Но вижу, пожалуй, шибче зрячих. Семён, бригадир, себе тащит колхозное добро. Да и председатель с ним заодно. А народ молчит. Боятся, знамо дело. Пошевелить их надо, уголёчки эти затухающие. Сдунуть фиолетовый пепелок да словом вихревым раздуть огонь. Подбросить нешто бересты прибауточной. А уж там, как Бог даст. Глядишь, и прозреют многие при свете пылающих слов, – так думал Игнат Копейкин. А может, и не так. Может, думал, как бы ему сподручней опохмелиться на рынке. А может, молодость вспоминал, Грушеньку свою ненаглядную. Недаром Грушей звалась. Весной вся цвела, и запах от неё – тонкий такой, как от цветов луговых.

Обращаясь к вознице, Петру Васякину, Игнат смело втолковывал ему о неурядицах колхозной житухи. Пётр был свой брат, из раскулаченных. Нахлебавшись сибирских поселений, где зимой волки возле домов ночами бродили и где горсть зерна варили для всей семьи, он волжские родные ме-

ста нахвалявал: «Эх, Игнат Игнатыч, у нас жить-то можно, лишь работай, не ленись. А так, за палочки эти да за мешок капусты кто ж тебе работать будет. Дураков нет. Вот и воруют».

Солнце садилось за оврагом, и в красных его лучах запыхала на горизонте юрьевецкая колокольня.

– А вот и она, матушка родимая, – сказал Игнат и широко перекрестился, устремившись прямым длинным носом на колокольню.

Пётр аж присвистнул: «Да ты ж слепой, ядрёна лапоть! Как ты увидел?»

– То тебе неведомо, погоняй, погоняй!

Колокольню ту в тридцать четвёртом чуть не взорвали, да архитекторы приезжие доказали, что пригодна она для обзора местности. В НКВД ждали беспорядков – народ сильно бурлил той весной. Недаром в Кадые арестовали всех, кого могли. То там, то здесь вспыхивали те самые, фиолетовые угольки. Выгребали их кровавой кочергой указов и постановлений. И выгребли в округе почти всех подчистую. А колокольню всё же оставили для пожарных нужд.

Высоко она взлетела в небо, колоколенка эта. Да и то – самая высокая в Поволжье. Однажды мне, пишущему строки эти, позволил, то есть благословил архимандрит Алипий взобраться на самую верхотуру. Смотрел я тогда на дали наши русские, необъятные, и оттуда, сверху, всё высматривал слепого Копейкина, и только через двадцать лет высмотрел...

Пётр на крутом спуске имени 25 октября придерживал лошадку – резвую кобылку, и она, передними копытами скользя по обкатанным булыжникам мостовой, задом упиралась в передок телеги. «Тихо, тихо, голуба, не балуй! – приговаривал Васякин. А Игнат, крепко вцепившись руками в корявую слегу, выпевал старательно «а-а-а», и голос его дрожал от булыжной тряски, и получалось по-мальчишески смешно.

Ну, вот она и базарная площадь – как на блюдечке с голубой каёмочкой – всех видно. И Сокольских с того берега, и с Пушкарехи мастеров-хитрованов, и с Ямской лихих огородников. Раньше на берегу стояла церковь-красавица. Но её коммунисты взорвали, и ровно на этом же месте соорудили, безбожники, общественный туалет. «На-те вам, юрьевчане, кукиш под нос».

Всю войну народ здесь ожесточался. Голодуха многих повлекла в раздумья. И хоть таились «раздумчивые», да шепоток возникал на рынке: «Кому война, а кому – мать родна». Наезжали какие-то ловчи́лы – то ли с Ярославля, то ли с Иванова, а может, из самой Москвы. Скупали золотишко у эвакуированных. Да и что другое – чашку какую фарфоровую, наряды, в которых в Юрьевце не погуляешь...

Иные эвакуированные бедствовали, но всё равно местных презирали за расчётливость. Третьего дня на рынке Игнат слышал, как Петуниха кричала: «Да они, б..., повадились картоху из подвала выпростать, пока меня дома нет». Эх, кто эту Петуниху обокрадёт, тот и дня не проживёт. Но не стоит

село без праведника – были истинные юрьевчане, из прежних, так те, по христианскому обычаю подкармливали беженцев.

Игнат слез с телеги и, постукивая палочкой, быстрым ходом двинулся к колокольне. У него там, в кустиках, и скамеечка была припрятана, а гармошку – приветливую тальянку – матушка Антонина ему принесёт. Он ей к вечеру на хлебушек-то и даст, малую мзду от собранного. Занавесочку беленькую отодвинет она да осторожно так, из-за цветущей герани, перекрестит Копейкина: «Дай-то, Бог!»

А слепой гармонист уж наяривает на всю площадь, и знакомец его – Вася, по прозвищу Кустик (ночует в кустах, вот и прозвали) – тут как тут. А рядом и юродивый, дурачок Тимоха. Бутылочку-то распечатали. Приняли по лампадке. Остальное припрятал Игнат под скамеечку, в суму свою переходящую. Он нищих ещё тех помнил, что по монастырям да по святым местам хаживали при царе-батюшке.

Приехали шумные мужики с Пучежа. Привезли воблу да яблоки мочёные, дорогушие, не всем по карману. А Игната угостили, и он ещё лампадку принял и антоновкой душистой закусил. Ну и грянул: «Когда б имел золотые горы и реки, полные вина...» Мужики, тоже малость принявшие, подпевать взялись. Потом перешли на солдатские: «Летят по небу бомбовозы...»

А рынок жил своей жизнью. Каким-то старьём торговали, серпами без ручек, замками ржавыми, ножами древними

узорчатými. И даже втихую иконы предлагали. Кустик, захлёбываясь, шепелявил: «Ой, Игнат Игнатыч, какую икону продают – загляденье. И недорого. Вот бы нам её купить! Да матушке Антонине подарить».

Игнат снял видавший виды сапог. Крякнул, нащупав в нём дыру: «Эхма, прохудилась обувка-то!» Портянку разворачивал осторожно. Лежала там, свёрнутая, как солдатское письмо, серая сотенная бумажка. «Месяц с ней хожу. А теперь что ж – на, Вася, иди, купи икону». Пальцами зрячими своими Игнат, раб Божий, осмотрел образ. Оклад знатный, и письмо прямо-таки дивное, на ощупь старинное.

А рынок загудел по-шмелиному: «Вот тебе и нищие – сотенными разбрасываются!» Закудахтали бабы: «Ох, непорядок это. Надо б заявить, куда следует».

– А чего они сделали тебе плохого, Петуниха? – вступилась дородная баба в засаленном переднике. – Пусть покупают да молятся. На то они и убогие.

– Ага! Ты послушай, чего этот Игнат выкаблучивает!

У колхозного быка  
Провалилися бока.  
От такой кормёжки  
Он как после бомбёжки.  
Пошлю Сталину приветик  
И частушку в его честь.  
Научил меня в колхозе  
Он работать и не есть.

Кто побоязливей – отошёл от греха подальше. За такие частушки далеко можно уехать. А Игнат не боится. Сон ему был, что везут его в тюрьму, а там сама Богородица его встречает. И ласково так говорит ему: «Ничего не бойся, Игнат. Мы все будем с тобою». И много в той тюрьме народу, и все покалеченные. А мучители здоровенные. Их бы на фронт. Почему я их вижу? – встrepенулся Игнат. Да я ж прозрел! Потянулся он было руками к глазам своим, а руки-то верёвками связаны за спиной. Побежал было вослед Богородице, да ноги-то спутаны. Но он всё равно радёхонек – надо ж, прозрел. Сорок лет света белого не видывал. Богородица спасла.

Сидит себе слепой Игнат да частушки наяривает, верит, что сон-то сбудется. Матушка Антонина подаренную ей икону внесла в дом с пением акафиста. И долго благодарила Игната, а потом так сказала: «Но частушки такие ты лучше при всём народе не пой. Пой лучше акафисты».

– Эх, матушка, за акафисты мне ещё больше дадут!

До самого Яблочного Спаса веселил Игнат почтенную публику. Но как-то вечером молодой парень в сером костюме постучал ему по плечу: «Игнат Копейкин?»

– Я, он самый.

– Пройдёте на фабрику. Там вам посылка.

– Посылка? Какая посылка? Да неоткуда мне ждать. Сирота я.

– Есть, есть. Документ при ней. Извещение. В чужие руки

такое не отдашь.

Ёкнуло сердце у Игната. Дело нечистое, казённое дело.

На допросе всё допытывались, кто сочинил частушки. Может, учитель какой? Вспоминай, мол. Скажешь – тебя, слепого, отпустим.

– Да сам я, сам. Меня и судите, коль виноват.

Сапогом, начищенным до блеска, получил слепой под причинное место. И кулаком по незрячим глазам. «Вот ты и прозрел» – сквозь вязкую боль услышал он откуда-то сверху, словно упал с колокольни камешек, да Игнат его поймал.

*«И наконец, приходилось брать на дармовое государственное содержание ещё таких арестантов, кто по слабости сразу в лагере умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока. Или ещё таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе – как слепой Копейкин, семидесятилетний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце (Волжском). Песнопения его и прибаутки повлекли десять лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением».*

(А. Солженицын. «Архипелаг Гулаг». )

## На свалке

Белая гипсовая голова Сталина, подпрыгивая, как живая, стремительно вылетела из чрева мусоровоза, едва не поранив мою правую ногу. В последнюю секунду я дёрнул ногой, как цапля, и не устояв, упал на груды каких-то документов, что веером раскинулись, вылетев из-под железного забрала машины.

Голова с отбитым носом смотрела на меня холодно и презрительно. Я тут же вскочил на ноги и, не удержавшись, по детской привычке, пнул её. Впрочем, то «богатство», что вывалилось из мусоровоза, захватило моё мальчишеское воображение. Книжки. И какие книжки! Огромные. Мною никогда не виданные. Биография Сталина – чуть ли не полметровый фолиант, совершенно новый. С множеством фотографий. А на первом вкладыше – портрет генералиссимуса в белом кителе, на котором сверкала золотая звезда героя. Книга о челюскинцах – вся их эпопея, с фотографиями, с телеграммами Сталину и от Сталина.

Коричневые тома сочинений вождя – один к одному, юбилейное издание. И, о Боже! Наборы открыток, посвящённых столетнему юбилею Пушкина. 1937 год стал для Пушкина чёрной меткой.

Здесь же, неподалёку, я увидел пачки архивных постановлений и какие-то бланки, чьи-то личные дела. Два-три дела

я пролистал. И в свои тринадцать лет сообразил, что это выброшено на свалку то, прежнее, от которого ныне отрекаются и по радио, и по телевизору, да и в школе, где недавно, в кабинете истории, я обнаружил старый учебник с портретом Сталина, густо замазанным чернилами и с подрисованными наверху рожками.

Позже, уже в 70-е, поинтересовавшись историей вопроса, я узнал, что также замазывали в тридцатые годы в учебниках портреты расстрелянных маршалов. Но надо отдать должное Хрущёву, во времена оттепели мы учились по новеньким учебникам, вкусно пахнущим свежей типографской краской, где бывшим вождям вовсе не было места.

Поэтому, обнаружив их на свалке истории, а фактически на настоящей свалке в нашей подмосковной деревне Матвеевское, я, конечно, возрадовался. Прежде всего тому, что теперь я обладаю удивительными артефактами. Я взвалил мешок с «ценностями» на плечи и двинулся в путь. «Да, если уж день удачный, то во всём» – подумал я, когда, переступая через валявшийся в груди бумаг сейф без дверки, увидел торчащие сапоги. Почти новые, чёрные, яловые. Я тут же их примерил. Они были чуть великоваты. Тогда я, как учила мать, вложил в носок бумажки. Нашёл я их здесь же, а точнее, вырвал из середины личного дела, валявшегося тут же, под ногами. Таким образом, сам не подозревая того, впервые попирая резолюции сталинских парткомов, я зашагал к дому.

# Дом

Тут, как мне кажется, читатель должен понять, что представлял из себя мой дом, имеющий полувековую историю. Когда-то мои прадеды строили его со знанием дела, с расстановкой, и даже, как утверждал отец, под каждым из четырёх столбов в фундаменте дома лежало по царской пятирублёвке. Это был пятистенок, со светёлкой и большим крытым двором с конюшней. В общем, вполне себе кулацкий дом, богатый и справный. Из-за этого во время коллективизации навлекший большие неприятности на своих обитателей.

Отец, насидевшись в одиночках, бараках, набитых осужденными, истосковался по своему просторному дому. В передней весь угол занимал иконостас. Иконы были старые, в больших киотах. Про одну из них отец говорил радостно: «Это крестной моей икона. Из монастыря. Старой веры. Видишь – крест восьмиконечный». Я во все глаза пялился на икону. Но для меня это было что-то тёмное, непонятное. Одним словом – «бабкино хозяйство».

Но я ни разу не видел, чтобы она молилась здесь, в передней, на эти иконы. У неё в комнате, как раз напротив русской печки, висели в углу две небольшие иконы: Казанская Божья Мать и Гурий, Самон и Авив. Они нынче у меня в красном углу – на них молюсь вслед за своими ушедшими.

Однажды, будучи уже тридцатилетним, я спросил свою

бабушку Татьяну Сергеевну: «А когда замуж выходила, благословляли вас Божьей Матерью?» «Нет, – отвечала. – Гурием благословляли. Это для умножения богатства, и чтобы мора не было ни у лошадей, ни у коров».

На старинный иконостас своеобразно молился отец. Причём, делал он это, изрядно набравшись винища. И рассказывая очередную тюремную историю, как всегда, к слову восклицал: «Нет, я в Бога верю! Я, когда в доме Васькова под расстрелом сидел, так молился – ничего, сколько надо отсижу, Господи, лишь бы живым домой вернуться. А там мне мать сварит чугунок картошки, селёдочку сварганит с лучком и бутылку поставит. Отпраздную, а там – забирай!»

Так он и «праздновал» изо дня в день. А когда уж совсем ему неважину становилось от воспоминаний, он вдруг всхлипывал: «Господи, Господи!» Падал на колени и полз под иконостас, отшвыривая стулья. Мне было смешно, но и грустно видеть это.

Отец рычал: «За что? За что?» Иконы молчали. Тогда он вставал, и вид у него был диковатый. Остатки волос прилипали к большой лысине. Глаза пьяные и мятежные останавливались на бутылке портвейна, и он успокаивался.



Сергей Коротков с отцом Иваном Петровичем Коротковым (Гугой), 1960

# Пасха

Пасха начиналась со страстной пятницы. Бабушка месила тесто, ставила его под полотенцем в тепло, чтобы взошло. Мыла изюм. А топлёное масло, что сама она умела делать – моя кулацкая бабуля – это масло золотилось в стеклянной банке, как солнце. Топилась русская печь, и там, внутри, ещё одно солнце светило красноватым светом. Куличи выходили знатные, знаменитые на всю деревню. И делалось всё это для того, чтобы в Пасхальную ночь взошло над миром Солнце Христа, и оно всходило, и люди радостно восклицали: «Христос воскрес!» Им отвечали ещё радостнее: «Воистину воскрес!», и никакая советская пропаганда не сумела истребить в крестьянах этого чувства праздника.

До семи лет я безотчётно верил бабушке, и когда мы приступали к разговению, она снимала специальную деревянную формочку с творожной Пасхи, и на ней отпечатывались буквы ХВ. И я ел эти буквы, и сердце моё ликовало. А моё крашеное яйцо в уличных битвах почему-то всегда побеждало, и в карманах у меня эти крашеные пасхальные яички стучались друг о друга. Прибежав с улицы, запыхавшийся и счастливый, я высыпал на стол свою добычу. И бабушка причитала: «Ишь ты, шут ты задери, прямо дед вылитый. Тот на Пасху раз корову выиграл – целый картуз денег принёс домой... Дедушку-то помнишь?» И она, всплакнув, гладила

меня по голове.

Деда я помнил зимнего. Он возил навоз в поля. Морозы стояли крепкие. В такие морозы хорошо навоз пахнет. Весь наш конец этим духом пропитывался. Мы цеплялись сзади за санки и скользили по ледяной дороге до последнего дома. А если лошадка на дорогу нашлёпает, то бабка обязательно соберёт в ведёрко, да ещё и с прибаутками – «конский, он для земли пользительный». Дед приходил на обед озябший, с красным лицом, снимал огромные рукавицы. И я, жалея, говорил ему: «Иди к печке. Погрей ручки, дедушка...»



Дедушка и бабушка: Пётр Алексеевич Коротков и Татьяна Сергеевна Короткова, 1950

Однажды на Пасху я объелся яиц, и никак не мог отрыгнуть. Ну никак, колом в горле что-то встало. «Баба, я не могу вдохнуть. Никак отрыжка не идёт» – пожаловался я. «Во так же и дедушка. Всё не мог, не мог, да и помер,» – брякнула она в ответ. Слёзы брызнули из моих глаз. «Не хочу, не хочу умирать!»

Старая прижала меня к своему подолу и утешала: «Не бойся, дурачок, не умрёшь. Маленькие не умирают». Бабка, конечно, слукавила – маленькие тоже умирали, и смерть соседского мальчишки, дружка моего, оставила в моей душе неизгладимый след.

Впервые в жизни я попал в церковь, в Переделкинскую церковь, что сиротливо стояла возле кладбища. Везли нас на похороны на грузовике, на бортах которого было прибито красно-чёрное полотнище, и помню, как ветер трепал его, словно стараясь сорвать.

После дневного солнца в церкви казалось сумрачно. Хотя горели свечи, мерцали лампадки. Маленький гробик с Витькой, белым и очень серьёзным, окружили родичи. Мать его причитала и рыдала, и я вспомнил, как бежали они – отец Витьки, мать, брат старший и ещё какие-то люди – к речке, к Сетуни, где, как они кричали, мог утонуть Витя. Он и утонул. Стояла водная такая весна. Речка пожелтела и набухла, и несла на белых барашках обломанные доски и ещё какую-то всякую всячину, а мы (нас было пятеро) ловили эти доски, бесстрашно бегая по бережку.

А наверху, у дзота, горел костёр, нами запаленный. Сухие доски выгорали, и мы спускались с горки, и там ловили то галошину, то почтовый деревянный ящик, и всё тащили наверх. И в большом яростном огне резина горела, шипя, как змея, и фанера ящика выгибалась и лезла целоваться с языками пламени. Мы не сразу заметили, что Витьки нет долго. А когда кто-то сказал: «Он вроде в Кунцево хотел пойти», все почему-то поверили, хотя никто из нас, шестилеток, дальше своей деревни никуда один не ходил. Один Колька, который был года на три постарше, испугался и метнулся в деревни сказать взрослым, что Витька пропал. И тут-то они с баграми показались на нашем бугре.

Долго мне ещё помнилось перекошенное лицо Витькиной матери. Наверное, она думала, что это я зазвал Витьку в это опасное место. Да на кого ещё было подумать, ведь я слыл безотцовщиной.

Позже я узнал, что этот дзот, где мы жгли костёр, и три других, были поставлены для охраны сталинской дачи. Возле этих брошенных секретных сооружений мы в конце пятидесятых играли в войну, пекли картошку, а позже и с девочками целовались...

В церкви у меня закружилась голова. Суровые лики смотрели на меня строго, осуждающе. И я, не выдержав, выбежал на улицу. Бабушка нашла меня и, взяв за руку, завела в храм. «Не бойся, внучок. Витю отпели. Ему теперь хорошо будет. Душа-то его безгрешная скоро на небе будет».

На этом же грузовике нас везли обратно, и я всю дорогу смотрел в небо, пытаясь разглядеть след Витькиной души.

# Отец

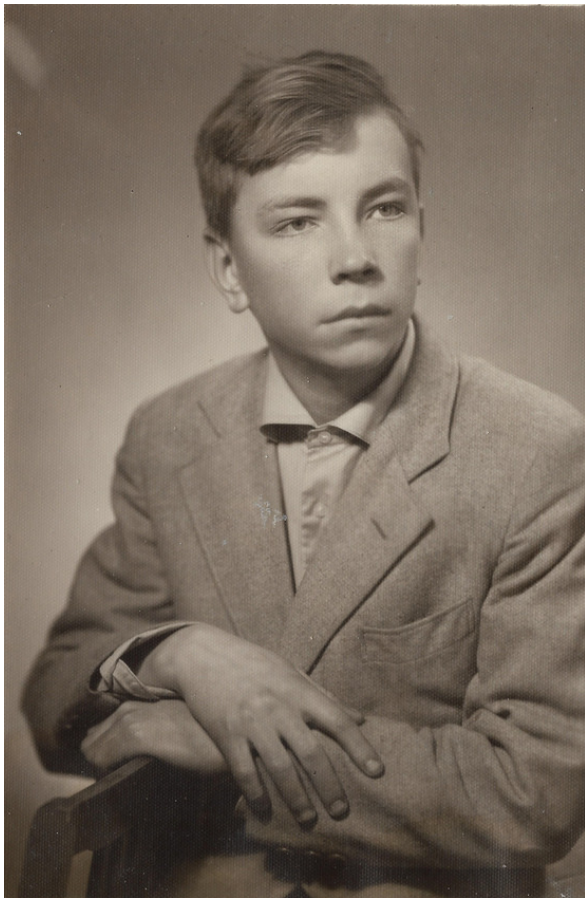
Мне в мои семьдесят лет легко ли погрузиться в раннее детство? Это требует душевного покоя, какого-то просветления. И в редкие эти мгновения выплывают из бездны исчезнувшего, прошедшего те воспоминания об отце, что сохранились в сердце моём как возможность иной его судьбы, а следовательно, и моей (после чтения Архипелага Гулага даже слово СЛЕДОВАТЕЛЬНО кажется враждебным).

В северном полушубке, в огромных рукавицах, с усами – таким я его увидел у калитки нашего матвеевского дома. Кстати, усы он вскоре сбрил. Дело было в бане, и я не узнал его. Он любил рассказывать за столом этот потешный случай.

С полгода над ним ещё висел нимб его двадцатилетних страданий, а он ничего такого «страшного» не рассказывал родным. И главное, он не пил. Работал кочегаром, и в напарниках у него был такой же зэк, два плена прошедший русский мужик. За немецкий плен получивший десять лет Колымы. Всё по той же ненасытной пятьдесят восьмой.

Иногда он брал меня к себе на работу. Ах, как мне, семилетнему мальчишке, нравилось там, в полуподвале! У стены сооружён был топчан, накрытый солдатским одеялом. Над топчаном висела самодельная книжная полка, и когда отец читал, то сполохи раскалённого котла метались по страни-

цам, как живые.



Сергей Коротков, юный поэт, 1964

Мне особенно запомнилась красивая, необычная книга – «300 лет дома Романовых». Надо сказать, отец привёз с севера целый чемодан книг, и я в свои школьные годы успел перечитать их почти все.

Некоторые из них были старинные, с ятями и ижицами, и я любил читать такие, дореволюционные издания, которых в библиотеках было не найти. Академический том «300 лет дома Романовых» я разглядывал подробно и тщательно. Его редактировали 25 академиков – цвет русской науки.

Также был он украшен портретами императоров, императриц, великих княгинь. Когда я стал постарше, уже подростком, я с жадность разглядывал обнажённые плечи принцесс, их лебединые шеи и совершенные черты лиц. Увы, не знал я об их трагических судьбах, об ипатьевском подвале и шахтах...

Ныне сам Государь и Государыня, и дети их поселились навек в русских иконах. И я молюсь о прощении за те мои ненасытные взгляды на венценосных ровесниц.

Отцовского напарника звали Григорием. Это был пятидесятилетний мужик, с хорошей русской повадкой и большими, лопатообразными руками. Он угощал меня чаем с вареньем, расспрашивал, как мы играем в войну, и хотят ли ребята быть в игре немцами. Я объяснял ему, что по очереди... Хотя всем, конечно, хочется всё время быть «нашими».

Как-то незаметно втягивался в разговор отец, и они, забыв

про меня, произносили непонятные для меня слова: этап, крытка, зона, шконка. Сходились они в одном – большом разницы между немецкими и советскими лагерями не было.

Через год, заливая вином прошлое, полюбил отец кричать надрывно: «Я напишу, я ребятам обещал... Роман „Любовь и чифир“. Я всё расскажу и про гаранинские расстрелы... Знаешь, что такое – сидеть под расстрелом? Не знаешь. Не дай Бог тебе это пережить». И брызгая слюной, он вопил: «Я был там, где люди жрали друг друга! А туман? Протянешь руку – и рука пропадёт в тумане».

У Солженицына, в «Гулаге», я наткнулся на очень точное замечание про человека, похожего на моего отца: «Он мог бы написать такую же книгу, как я. Но не написал».



Лёва Одесский, г. Молотовск, 1953

В нашем доме напротив иконостаса, у стены под портретом деда и бабки стоял комод. И на нём неприкрытые ва-

лялись письма отцу из лагеря от сидельцев. Они почему-то обращались к матери.

«Добрый день или добрый вечер, уважаемая Анастасия Семёновна! Надеемся, что наш товарищ Иван Петрович Вам по душе, и живёте Вы в любви и согласии. Здесь, под свист северных вьюг, под звон запретки, так хочется порой окунуться в домашнее хозяйство, почувствовать сердцем, изболевшемся на этапах и пересылках, нежную женскую заботу.

Дорогой друг наш Иван Петрович, жизнь наша течёт по-прежнему. Болезни у нас всё те же. И они нас всё так же мучают. Если можешь, пришли (а чего – ты сам знаешь)...

Да, а ты помнишь Лёву Одесского, друга нашего общего? Так его в пятьдесят пятом году мусора убили.

Желаем тебе семейного счастья и нас не забывать. Пиши на вольный адрес: город Молотовск, улица Сталина, Заворотнюку Тарасу Ивановичу».

Отец посылал им морфий. Моя тётя, его сестра, работала в больнице и некоторое время приносила с работы ампулы. Она потом, после смерти отца, рассказывала мне: «Ну, я терпела, терпела. А потом говорю: „Иван, хоть ты и брат мне, но в тюрьму я не хочу“. Он и отстал».

Но ещё долго освободившиеся приходили в наш дом передавать приветы отцу из лагерей. Один из таких людей, человек по кличке Божий, отсидев 25 лет в Гулаге и пробыв на воле с месяц, загредел опять на всю катушку. Он повздорил с бывшим лагерным охранником, оказавшимся вместе

с ним на свадьбе. Они сцепились не на жизнь, а на смерть, и Божий спяну зарезал. Отец оправдывал своего знакомца: «Мы же не знаем, чем вохровец насолил Божьему там, в лагерях. Среди них, знаешь, какие сволочи водились».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.